



Ю. Л. КУЗНЕЦ

От Перл-Харбора до Потсдама*

<Фрагменты>

Военно-стратегические проблемы и противоречия

Когда Черчилль ознакомил Рузвельта и членов объединенного комитета начальников штабов США с британским проектом, то в высшем военном руководстве США, как и в ближайшем окружении президента, возникли разногласия и появился длинный ряд «узких» и «расширенных» совещаний, так и не давших определенного результата. В стране шумно и интенсивно пропагандировалась концепция: «Япония — враг № 1». В конгрессе сторонники этой теории чувствовали себя еще увереннее, чем в стране в целом, тем более, что могли использовать и активно использовали на деле широко распространенное недоверие к англичанам. В объединенном комитете начальников штабов жаркие споры велись даже по вопросу о том, в какую сторону — на Восток (в Европу) или на Запад (на Дальний Восток) — посылать тот или иной корабль с солдатами или снаряжением. А отношение президента Рузвельта к проблеме второго фронта было сложным и противоречивым, что, как правило, затушевывается в американской исторической литературе.

Обычно в ней утверждается, что США с первых дней участия в войне решительно и последовательно выступали за то, чтобы как можно быстрее вторгнуться на европейский континент из Англии, а англичане за то, чтобы победить Германию посредством блокады и серии концентрированных периферийных ударов, в частности из Средиземноморья. Такая «концепция упрощения» формально

* Впервые: Кузнец Ю. Л. От Перл-Харбора до Потсдама. М., 1970. Печатается по этому изданию. С. 10–15, 238–249. — *Примеч. сост.*

вытекает из большинства заявлений, сделанных по вопросу о втором фронте руководящими военными и государственными деятелями США, начиная с президента Рузвельта. Основываясь на таких заявлениях, очевидец и летописец событий С. Розенмен в комментариях к «бумагам» Рузвельта подчеркивает, что президент «настаивал на том, чтобы американские войска еще до конца 1942 года приняли участие в сражениях с Германией», и что Рузвельт скрупулезно соблюдал принцип борьбы за открытие второго фронта в Европе.

Маститый американский историк Дж. Пратт пишет, что Рузвельт и его советники «делали все возможное для осуществления вторжения через Ла-Манш в наиболее близкий срок», а военный исследователь А. Норман утверждает, что принцип открытия второго фронта в Европе «с самого начала» был руководящим принципом вашингтонских стратегов, которые рассматривали все другие операции, в частности операции на средиземноморском театре, как «второстепенные, преследующие чисто диверсионные цели». На деле же Рузвельт сознавал, конечно, что Германия является наиболее опасным врагом и что против нее должен быть направлен главный удар. Исходя из этого, он одобрил принципиальную установку объединенного комитета начальников штабов США на открытие второго фронта в Европе. Но в проведении этой установки в жизнь президент не проявил последовательности, решительности и настойчивости. Аргументы Черчилля неизменно находили отзвук в душе Рузвельта, и привлекательная перспектива победы «малой кровью», какой бы крови такая победа ни стоила русским, неизменно довлела в отношениях президента с Черчиллем.

Разумеется, Рузвельту приходилось учитывать и такие факторы, как неопытность и необстрелянность американских солдат, необходимость действовать в Европе с английских баз и английской территории (что давало Черчиллю весомый козырь), наличие в стране и конгрессе антианглийской пропаганды и т. д.

Но был и еще один фактор, игравший в конце 1941–1942 годов для Рузвельта особо важную роль. В это время американцы переживали разгром в Пёрл-Харборе особенно остро. Правительство и сам президент находились под огнем критики. Нераспорядительность, пассивность, нечеткость работы государственного аппарата и военной машины США, столь явно проявившиеся в день Пёрл-Харбора, ставились в вину непосредственно президенту.

Между тем надо было подумать и о приближении частичных выборов 1942 года, и о позициях демократической партии в избирательной кампании в 1944 году. Сильное давление на правительство неизменно оказывало общественное мнение США, требовавшее активизации военных усилий страны, открытия второго фронта в наиболее близкий срок.

В этой обстановке демократам и Рузвельту требовалось предпринять нечто такое, что убедило бы в способности правящей партии эффективно противостоять ударам судьбы, предпринимать активные и успешные действия, добиваться победы. Иными словами, Рузвельту нужны были действия в 1942 году, как можно скорее, как можно больше, но лишь там и тогда, где и когда они дали бы, возможно, лучший пропагандистский эффект. Генерал Маршалл собственноручно записал заявление президента, дающее ключ к пониманию последующих его действий. Рузвельт сказал, что «считает весьма важным с моральной точки зрения дать Соединенным Штатам почувствовать, что они ведут войну, дать почувствовать немцам, что такое неудача, *иметь американские войска в активных боевых действиях где-либо по ту сторону Атлантики*» (курсив мой. — Ю. К.).

В этом высказывании не случайно обращает на себя внимание расплывчатая формулировка «где-либо по ту сторону Атлантики». Для поставленных Рузвельтом целей ведение военных действий на одном тихоокеанском театре, где до победы предстояло завоевать сотни безымянных островов, теряя жизни американских солдат буквально на каждом, желаемого эффекта не сулило. С другой стороны, вторжение во Францию через Ла-Манш или Па-де-Кале требовало огромных усилий, тщательной подготовки и, по-видимому, больших жертв. Не следует ли сделать из сказанного вывод, что уже из этих слов Рузвельта вытекает его последующее согласие на высадку в Северной Африке, которая все же расположена «по ту сторону Атлантики», где американские солдаты почувствуют себя почти на «настоящей» войне, где успех ближе, а плата за него меньше.

По-видимому, так оно и было, хотя, как будет показано ниже, Рузвельт окончательно утвердился в этом своем решении лишь после длительных переговоров с англичанами и активных усилий действовавшего в том же направлении Черчилля.

Все эти соображения наложили отпечаток на итоги конференции.

Решения конференции «Аркадия» по вопросам «большой стратегии» и ее основному содержанию — проблеме второго фронта — носили расплывчатый и неопределенный характер. В решениях говорилось: «Маловероятно, чтобы в 1942 году оказалось возможным какое-то широкое наземное наступление против Германии, за исключением наступления на русском фронте». Для англо-американцев возможными будут лишь «ограниченные наступательные операции на суше». Что же касается перспектив на 1943 год, то отмечалось, что «может открыться путь для возвращения на континент через Средиземное море из Турции на Балканы или путем высадки десантов в Западной Европе».

Впрочем, даже такая ограниченная перспектива казалась слишком смелой. Дабы упоминание о вторжении на континент не было воспринято как намерение открыть реальный второй фронт уже в 1943 году, в решениях подчеркивалось, что упомянутые операции явятся лишь «прелюдией к решительному нападению на собственно Германию».

На 1942 год основные операции против Германии ограничивались усиливающимися бомбардировками германских городов, «помощью наступлению русских всеми имеющимися в распоряжении средствами», блокадой Германии, «поддержанием повстанческого духа в оккупированных странах и организацией подрывных действий».

Политические аспекты переговоров

Видное место в ходе работы конференции «Аркадия» занимали политические проблемы войны и межсоюзнических отношений. Рузвельт и Черчилль сознавали, что победа над противниками во Второй мировой войне потребует большей координации планов и усилий, чем это имело место когда-либо раньше. Но это понимание опять-таки ограничивалось рамками англосаксонского военно-политического мышления.

Более того, на конференции была выработана такая структура объединенного англо-американского руководства войной, которая, по существу, самой логикой своей организации и деятельности усиливала сепаратизм действий США и Англии по отношению к СССР.

Речь идет о создании в ходе конференции «Аркадия» объединенного комитета начальников штабов США и Англии, подчи-

ненного непосредственно Рузвельту и Черчиллю и ответственного за руководство войной на всех ее театрах в рамках согласованных между главами правительств военно-политических директив. Если же учесть, что объединение союзных усилий по выработке и осуществлению «большой стратегии» сопровождалось образованием сети объединенных органов по материально-техническому, сырьевому и транспортному обеспечению, то можно согласиться с оценкой американского исследователя событий, который отмечал, что степень объединения усилий США и Британии в период войны превосходила «все степени сотрудничества, существовавшие когда-либо до этого между двумя суверенными государствами».

Постепенно в рамках этого сотрудничества росла роль США как военно-экономического гегемона. Но процесс усиления американских позиций протекал отнюдь не автоматически, англичане защищались упорно, с большим искусством и известными результатами. Однако при всех расхождениях и противоречиях англо-американский штабной комитет оставался органом англосаксонской «большой стратегии». В этом американцы и англичане были едины, несмотря на все свои расхождения и ссоры. Советский Союз не был приглашен участвовать в работе объединенного комитета; решения этого органа доводились до сведения Советского правительства как окончательные и не подлежащие изменениям. Это ставило СССР в неравноправное положение. Советскому Союзу предоставлялась лишь возможность высказывать свое отношение к тем или иным аспектам англосаксонской «большой стратегии».

В дальнейшем будет показано, что отношение американского президента к Советскому Союзу далеко не во всем совпадало с отношением британского премьера, а подчас существенно расходилось. Но во всех случаях СССР рассматривался лишь как объект применения более «гибкой и реалистичной» политики Рузвельта или же более консервативного и жесткого британского варианта. В обоих случаях привлечение СССР к совместной разработке большой (без кавычек) межсоюзнической стратегии носило со стороны США и Англии эпизодический характер и неизменно ограничивалось соображениями «англосаксонской солидарности».

Применительно к конференции «Аркадия» это выражалось в том, что к обсуждению принципов формирования антигитлеров-

ской коалиции, которое, конечно, не укладывалось в рамки узкоштабной двусторонней проблематики, СССР привлечен не был. Тем не менее сама жизнь заставила Рузвельта и Черчилля пойти при обсуждении и формулировании этих принципов дальше договоренности, достигнутой во времена «Атлантической хартии». В частности, как справедливо отмечает польский исследователь С. Боратынский, выработанная в исходе «Аркадии» Декларация Объединенных Наций содержала положение о необходимости «полной победы над врагом» как подлинной гарантии жизни, свободы и независимости народов. Это — шаг вперед по сравнению с «Атлантической хартией», где такого тезиса просто не было.

<...>

Какова же была политика Рузвельта в сложившейся ситуации? Характерно, что американская буржуазная историография в преобладающей своей части стремится представить Рузвельта в последние недели его жизни в качестве своего рода «блудного сына», долгое время отклонявшего увещевания Черчилля, но наконец «прозревшего» и осудившего на закате своих дней прежнюю политику сотрудничества с СССР. Стимсон, во многих случаях справедливо подмечавший непоследовательность и противоречивость суждений и действий президента, даже утверждал в этой связи, что Рузвельт за две недели до смерти «полностью потерял» симпатии к СССР и даже начал проводить по отношению к Советскому Союзу политику, которая впоследствии получила название «жесткого курса».

Долголетний сотрудник Рузвельта Розенмен совсем в духе «холодной войны» заявил, что президент в последний год своей жизни вообще перенес основное внимание на превращение США в самую сильную державу послевоенного мира, поскольку, мол, разочаровался в иных средствах поддержать мир. Бэйли категорически утверждает, что именно перед смертью Рузвельт «убедился в вероломстве русских» и умер, «сознавая, что все его усилия договориться с русскими потерпели крах». Холлис и Лизор утверждают, что, умирая, Рузвельт «трагически лишился своих иллюзий», а Аллен — что, проживи Рузвельт еще год, он бесспорно солидаризировался бы во всем с Черчиллем и одобрил бы его фултонскую речь.

Но где доказательства, могущие как-то подтвердить такую безапелляционность? При ближайшем рассмотрении оказывается, что в качестве «доказательств» эволюции Рузвельта от пози-

тивного отношения к СССР в течение предшествующих, особенно военных, лет к воинствующему негативному отношению последних недель и дней его жизни приводятся лишь возникновение «бернского инцидента», цитированное выше послание И. Сталину по польскому вопросу и телеграмма Черчиллю, написанная Рузвельтом в последние часы его жизни — утром 12 апреля.

Что касается послания, то, как свидетельствует само его содержание, оно было посвящено конкретному вопросу о путях формирования польского правительства национального единства и никаких намеков к пересмотру советско-американских отношений в сторону их осложнения не содержало. Напротив, в нем подчеркивалось: «Я уверен, что мы втроем, поняв друг друга так хорошо в Ялте, можем устранить и устраним все препятствия, которые возникли с тех пор».

В последнем же послании Рузвельта, полученном в Москве 13 апреля, на следующий день после его смерти, отмечалось, что президент с удовлетворением констатирует определенное улучшение общей атмосферы в американо-советских отношениях, несколько омраченной после известного «бернского инцидента». «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы», — писал Рузвельт.

Что же касается телеграммы Рузвельта Черчиллю в связи с настоянием последнего совместно продемонстрировать «жесткость» в отношении СССР, то, отвечая премьеру, Рузвельт писал: «Я склонен максимально ограничить советскую проблему, поскольку такого рода проблемы в той или иной форме возникают повседневно и в большинстве случаев поддаются урегулированию. Мы должны быть твердыми, и наш курс будет верным». Комментируя этот текст, Розенмен утверждает, что «без сомнения курс, о котором упоминал Рузвельт, не совпадал с его общей политикой военных лет по отношению к СССР».

Решительно все сторонники тезиса о «перерождении» Рузвельта к концу его жизни, сформулированного Розенменом все-таки мягче и деликатнее, чем многими другими, усматривают свой главный аргумент в употребленном Рузвельтом слове «твердость». Раз он сам употребил слово «твердость» в послании, затрагивающем вопросы отношений с СССР, рассуждают они, — значит, сам Рузвельт как бы «сжег все, чему поклонялся», и стал

как бы предтечей политики с позиции силы, являющейся лишь логическим продолжением и развитием намеченного Рузвельтом «твердого курса».

Однако такая аргументация фальшива. Даже беглый текстологический анализ слов Рузвельта, написанных лишь за час до его смерти, показывает, что центральным их пунктом является вовсе не призыв к «твердости» в той крайней степени, в какую возвели ее после войны Трумэн, Даллес и тот же Черчилль, а, наоборот, призыв не раздувать трудности в отношениях между США, Англией и СССР, который Рузвельт четко сформулировал в словах: «максимально ограничить советскую проблему». Все сказанное и написанное Рузвельтом по вопросу об отношениях с СССР в предшествовавшие дни свидетельствует о том, что президент отнюдь не считал советскую проблему менее важной и значительной, чем прежде. Его вывод о необходимости «ограничить» ее значение относился поэтому не к СССР в собственном смысле, а к Черчиллю и его сторонникам как в Англии, так и в США, ибо именно они гипертрофировали трудности, возникавшие в «большой тройке», вырывая их из конкретного внешнеполитического контекста и возводя в степень дипломатически неразрешимых и требующих внедипломатического вмешательства — использования фактора силы. «Ограничение» советской проблемы означало для Рузвельта лишь реальное соотнесение ее со всем комплексом проблем перехода от войны к миру, постановку ее в то русло общеполитических и личных отношений, которые за годы войны сложились между США, Англией и СССР и их руководителями и которые, как он был уверен, могут и должны быть распространены на послевоенный период.

Упомянутое Рузвельтом слово «твердость» относилось к необходимости для США и Англии руководствоваться позитивным политическим капиталом, накопленным в отношениях между СССР, США и Англией в годы войны, а не к проблематическому применению «жесткости» и «силы» к СССР. К тому же Рузвельт вовсе не являлся в политике мягким и аморфным деятелем. В свои планы и намерения он твердо верил и необходимую твердость в их проведении продемонстрировал и в годы «нового курса», и в ряде случаев в отношениях с тем же Черчиллем, хотя, конечно, органически свойственные президенту гибкость и противоречивость временами приводили его к компромиссам, выходившим за рамки того, чего он сам желал бы, как

это случилось, в частности, со срывом второго фронта в 1942 и 1943 годах.

Рузвельт был твердым и убежденным защитником капитализма и буржуазного демократизма. Проводимые им реформы имели целью, конечно, не ослабить капитализм, а, напротив, найти и включить дополнительные стартеры, могущие обеспечить его дальнейшее поступательное развитие. Именно в таких целях и с таких позиций Рузвельт, не колеблясь, оказывал противодействие Советскому Союзу, либо, как это было со вторым фронтом, допускал пересмотр и даже срыв ранее данных обещаний и провозглашенных намерений. Однако смелость и широта Рузвельта в его «русской политике», взятой в исторической перспективе, состояли в том, что он действовал с позиций государственных интересов США в целом, подавляющего большинства американского народа, а не с позиций какой-либо одной узкой группировки американского монополистического капитала. Все это и следует иметь в виду, анализируя последнюю телеграмму Рузвельта, о которой участник и историограф событий Дж. Шотуэлл справедливо замечает, что изложенная в ней политика «вне всяких сомнений была разумной». Рузвельт хотел лишь сказать: «Не будет Мюнхенов, но не будет и недостатка в терпении и дипломатии». «Это была та политическая стратегия, — заключает Шотуэлл, — в которой Рузвельт был столь силен».

Однако отношение Рузвельта к СССР в этот последний период его жизни нельзя, конечно, анализировать на основании эпизодов одного дня или дней. Необходимо поставить их в логическую связь с предшествовавшими событиями, с другими высказываниями президента и свидетельствами очевидцев и исследователей. Как известно, Рузвельт высоко оценивал значение Крымской конференции, прежде всего потому, что видел в ее решениях залог того единства «большой тройки», которое справедливо считал краеугольным камнем послевоенной системы международных отношений. Такой оценки Ялты он придерживался и тогда, когда, если верить Розенмену и др., он уже должен был перестроиться и занять противоположную, негативную позицию.

С этой точки зрения характерно заседание кабинета, состоявшееся в Белом доме 16 марта 1945 г. Обсуждался вопрос об СССР. Рузвельт был настроен решительно и оптимистично. Подчеркнув правильность и перспективность политики сотрудничества с СССР, он отметил, что намерен проводить ее и впредь, вопреки

сопротивлению англичан и Черчилля. Президент высмеял позицию британских «твердолобых» как абсурдную и абсолютно не приемлемую для США. Он сказал: «Британия хочет, чтобы США начали войну против СССР в любое время, и кратчайший для США путь к такой войне — следовать британской программе».

К 12 апреля 1945 г. президент так же верил в правильность избранного им пути, как и прежде. Он умел отличать преходящие затруднения дня от высоких целей будущего. Символично, что последняя фраза лежащего перед ним проекта его ближайшей речи, за чтением которого Рузвельта застигла смерть, звучала: «Предел наших завтрашних достижений — только в наших сегодняшних сомнениях. Так идем же смело вперед, преисполненные твердой и живительной веры!»

О том, что «эволюция» Рузвельта от позитивного к негативному отношению к СССР является плодом настойчивых усилий апологетов «холодной войны» привлечь «моральный капитал» Рузвельта для вящего «обоснования» своих антисоветских построений, а вовсе не исторической правдой, свидетельствуют и непосредственные участники и очевидцы событий.

Одно из наиболее авторитетных свидетельств принадлежит Хэллу, который, будучи с осени 1944 года в отставке, сохранил тем не менее контакты с президентом и встречался с ним. Хэлл вспоминает: «Во всех случаях, когда президент посещал меня после моего ухода в отставку, включая и его последний визит за несколько дней до смерти, он никогда не высказывал никаких опасений в отношении того, что Россия может отказаться от сотрудничества с нами во имя мира или как-то подорвет его». Между тем Хэлл, конечно, не принадлежал к тем людям, которые осудили бы президента за его намерение быть более жестким по отношению к СССР, если бы такое намерение у него было.

Интересные сведения о подлинном отношении Рузвельта к СССР, его планах и намерениях приводит видный американский журналист Э. Сноу. Он в октябре 1944 года, будучи в Москве, встретился с М. Литвиновым и имел с ним конфиденциальную беседу. Сноу пишет, что на него произвели глубокое впечатление слова Литвинова о возможности обострения отношений между США и СССР после войны, если правительство США отойдет от принципов сотрудничества военных лет. Возвратившись в Вашингтон, Сноу передал Рузвельту эти слова. Президент ответил: «Я уверен, что мне удастся сохранить хорошие отношения

с СССР. Я готов сделать все, чтобы после этой войны установился длительный мир». Комментируя эти слова, Сноу с сожалением писал, что преемники Рузвельта в Белом доме нарушили поддерживавшиеся и развивавшиеся им традиции сотрудничества между СССР и США и что именно американская сторона является виновником послевоенных кризисов и «холодной войны».

Здесь следует подчеркнуть, что, сознавая все значение добрососедских и взаимовыгодных отношений между США и СССР, Рузвельт выступал не в роли одиночки-мечтателя, а, как свидетельствует даже такой закоренелый империалист, как Бирнс, в качестве политика, верно отражавшего мнение большинства народа. На завершающем этапе войны, по данным видного американского историка Д. Перкинса, $\frac{2}{3}$ опрошенных американцев высказались за возможность сохранения и дальнейшего развития сотрудничества с СССР.

Наиболее серьезные историки не могут не считать все эти позитивные элементы политики Рузвельта в отношении СССР здоровыми и разумными элементами, вполне отвечающими безопасности и государственным интересам самих США. И не «чрезмерная уступчивость» Рузвельта русским, а именно отход его политических преемников от курса, многократно доказавшего в сложнейших условиях войны свою эффективность, породил то, в чем реакционные историки обвиняют покойного президента: «холодную войну», угрозу ядерного конфликта, войну в Корее и т. д., отметил в самый разгар «холодной войны» прогрессивный историк и публицист К. Марзани.

Однако «русская политика» Рузвельта была не только в ряде конкретных случаев непоследовательна и противоречива, о чем неоднократно уже упоминалось, но и в значительной степени идеалистична. Подлинный идеализм Рузвельта, в противоположность тому «оглуляющему идеализму», в котором столь часто обвиняют Рузвельта его критики справа, состоит вовсе не в том, что он «переоценил» лояльность Советского Союза, или «не заметил агрессивности русских», которые якобы водили его за нос, готовясь де-факто перечеркнуть сразу после войны совместно принятые решения, или же «плохо понимал Россию». В том, насколько несерьезны такие суждения, можно без труда убедиться, сопоставив состояние советско-американских отношений в 1933–1945 годах с их же состоянием и напряженностью в любые из последующих 12 лет, когда у власти в США стояли

президенты и государственные секретари, считающиеся в буржуазной пропаганде большими, чем Рузвельт, «знатоками» Советского Союза.

Подлинный идеализм Рузвельта в области американо-советских отношений состоит прежде всего в том, что, с его точки зрения, американский империализм утратил какие-либо империалистические качества и агрессивную природу и отныне и впредь будет проявлять миролюбие и бескорыстие. В этом отношении идеализм Рузвельта граничил поистине с пропагандистским стремлением затушевать самую сущность империализма США: не случайно все обвинения в колониализме президент направлял (с полным на то основанием) в сторону Лондона либо Парижа, но уже без всяких на то оснований представлял США в качестве страны, «не ищущей» после войны ни баз, ни территорий и мечтающей лишь «убраться восвояси, когда работа будет выполнена». Все сказанное и написанное Рузвельтом по вопросу о характере послевоенного мира представляет роль Соединенных Штатов в нем в качестве некоей сверхдержавы, играющей роль гаранта сохранения всеобщего мира. Опасная разрушительная для этого мира деятельность агрессивных и реакционных сил в самих США, сил, которые, представляя крупнейшие старые монополии и новый, стремительно разрастающийся военно-промышленный комплекс, наносили все более ощутимые удары по политике самого Рузвельта и открыто собирались похоронить ее в ближайшем же будущем, оставалась за пределами рузвельтовского анализа. Реальная угроза того, что вскоре именно эти силы продиктуют Соединенным Штатам новый внешнеполитический курс и откровенно провозгласят своей целью завоевание мирового господства и превращение XX века в «американское столетие», либо не осознавалась Рузвельтом, либо попала в узкий круг таких тем, о которых президент не считал возможным упоминать ни публично, ни в интимном кругу.

Другим проявлением политического утопизма президента были его воззрения на перспективы дальнейшего развития социалистического общества в СССР. Характеристика этих воззрений приобретает особую актуальность именно в современных условиях в связи с обострением идеологической борьбы в международном масштабе и усиленным распространением буржуазной пропагандой фальсификаторского тезиса о «едином индустриальном обществе» и «трансформации социализма в государственный капитализм».

Оказывается, Рузвельт задолго до современных «ниспровергателей» марксизма и специалистов в области идеологических диверсий выдвинул тезис о постепенном сближении в исторической перспективе советской и американской систем. По его мнению, которое он откровенно и довольно полно изложил Уэллесу еще до ухода последнего из госдепартамента в 1943 году, «советская система постепенно движется в направлении к модифицированному государственному капитализму, а американская — к подлинной социальной и политической справедливости». На этой почве и следует ожидать, по мысли Рузвельта, постепенного сближения СССР и США не только в области дипломатии, но и в общеполитическом и социально-экономическом отношениях. Рузвельт пояснил свою концепцию следующим примером: если американскую систему образца 1917 года принять за 100 (т. е. за чисто капиталистическую), то советская равнялась бы нулю. В дальнейшем американская система может отойти от «чистого» капитализма до отметки 60, а советская — подняться к отметке 40. Конечно, разница между ними останется и будет сохраняться примерно на таком же уровне. Но и достигнутое сближение окажется столь значительным, что американо-советские противоречия практически сойдут на нет и не будут рождать далее острых политических проблем.

Веря в такое сближение СССР и США, которое имело бы в своей основе внутренние необратимые изменения в социально-экономическом и политическом строе обеих стран, Рузвельт возлагал особые надежды на собственную, «личную» дипломатию, которую он рассматривал, как уже свободную от империалистических целей и качеств. «Я смогу лучше ладить со Сталиным, чем ваш Форин оффис или мой госдепартамент» — писал он Черчиллю в 1943 году. Это замечание Рузвельта соответствовало истине, поскольку президент искренне стремился на протяжении военных лет объективно учитывать роль, значение и перспективы СССР в войне и в приближавшемся мире. Но, сопоставляя эту фразу с часто высказывавшимся им намерением «приручить» русских к обычным нормам западной дипломатии, личным терпением и усилиями как бы снять те противоречия между СССР и США, которые являются проявлением и следствием коренной противоположности социалистической и капиталистической систем, наконец, само предположение о сближении этих систем и «самоликвидации» разделяющего их антагонизма — все это

нельзя квалифицировать иначе, как проявления политического идеализма Рузвельта. Однако этот подлинный идеализм президента существенно отличался от того надуманного идеализма, который, согласно утверждениям многих буржуазных историков, заключался якобы в беспричинном «подчинении» Рузвельта И. Сталину и чуть ли не в содействии Рузвельта усилению коммунизма в послевоенном мире.

Если Рузвельту и было свойственно то идеалистическое упрощение или игнорирование причин коренной противоположности двух систем, которое отмечалось выше, то в решении большинства острых политических проблем своего времени, где сталкивались государственные интересы СССР и США, Рузвельт умел вырабатывать реалистические решения, отвечавшие интересам обеих сторон. Как справедливо свидетельствовал Уэллес, Рузвельт глубоко понимал, что после двух мировых войн Советский Союз «вправе требовать такого мирного урегулирования, которое обезопасило бы его впредь от нападения извне». Рузвельт признавал также право СССР «настаивать на том, чтобы новые политические режимы, возникшие в пограничных с ним государствах, были дружественными по отношению к нему и выражали волю своих народов». Такой реалистический подход и обуславливал во многих случаях успех «личной» дипломатии Рузвельта в достижении соглашения или выработке компромисса с СССР. Конечно, заключал Уэллес, формируя принципы такого своего подхода к решению проблем послевоенного мира, президент «не мог предвидеть, что эти моральные обязательства, которые он дал от имени Соединенных Штатов, будут с такой легкостью отброшены прочь государственным секретарем всего 10 месяцев спустя».

Это признание Уэллеса тем справедливее, что объективно оно отражает изменение позиций не только госдепартамента, но и всего правительства Соединенных Штатов и, следовательно, характеризует важнейшую причину происхождения «холодной войны» в целом. Уэллес высказал как раз то, что столь тщательно скрывается и фальсифицируется послевоенной американской историографией, усматривающей в своем большинстве в качестве единственной причины международной напряженности «рост коммунистической угрозы».

Во всяком случае, говоря о своих надеждах на лучшее будущее, Рузвельт неизменно и глубоко справедливо связывал

их с дальнейшим развитием сотрудничества с СССР и проведением прогрессивных реформ в области экономики и политики в самих США. Он понимал, что победа над фашизмом не может не сопровождаться сдвигами в социально-экономическом положении тех простых американцев, которые воевали за эту победу. Но смерть оборвала его планы. Они не были осуществлены в послевоенной Америке. Более того, завоевания трудящихся, одержанные в период «нового курса», и само доброе имя президента Рузвельта оказались объектами ожесточенного и, к сожалению, небезуспешного наступления американских крайних правых.

* * *

Из своей последней зарубежной поездки на Крымскую конференцию* президент вернулся крайне переутомленным. Привыкший скрывать физические недуги от окружающих, Рузвельт на этот раз не мог их скрыть, и на заседании конгресса, посвященном итогам его поездки в Ялту, он вынужден был произнести горькие для себя слова: «Надеюсь, вы извините меня за то, что я, вопреки обычаю, оглашу свое послание сидя. Но вы поймете меня, учитывая то, что я вынужден таскать на ногах десятифунтовый груз стали, а также то, что я только что вернулся из путешествия протяженностью в 14 тыс. миль».

Однако президент продолжал заниматься текущими делами и лишь в апреле выбрался на курорт «Хот-Спрингз», где обычно быстро восстанавливал свои силы. Он хотел отдохнуть перед открытием конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско, где собирался присутствовать лично, и подготовить свою речь на конференции, которой придавал большое значение.

Между тем в столице, а затем и за ее пределами начали циркулировать слухи о близкой кончине президента. В семье Рузвельта еще весной 1944 года обсуждалась вероятность ухудшения его здоровья в случае, если он в четвертый раз будет избран в Белый дом. Сын Рузвельта Джеймс выразил уверенность, что избрание отца президентом «будет для него равносильно самоубийству», хотя вряд ли Джеймс Рузвельт подозревал, насколько окажется прав.

* Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4–11.02.1945 — вторая по счету встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка. — *Примеч. сост.*

Эти слухи усиливались под влиянием ухудшения самочувствия президента и распространялись подчас в весьма ответственных и информированных сферах. Так, по свидетельству Трумэна, слух о смерти президента разнесся, в частности, 21 февраля 1945 г. во время заседания сената, на котором Трумэн председательствовал. Оказалось, что умер личный секретарь Рузвельта Хотсон.

По-видимому, желая как-то развеять эти слухи, г-жа Элеонора Рузвельт 12 апреля 1945 г. объявила на своей пресс-конференции, что поездка президента на открытие ООН состоится, как было намечено, и что она вместе с мужем отправится на конференцию в Сан-Франциско, как только он вернется с курорта. Но в момент, когда она произносила эти слова, 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта уже не было в живых. Смерть застигла Рузвельта за работой. Мужественные слова проекта подготовленной для него речи о лучшем будущем и о необходимости твердо верить в него стали последними, которые ему суждено было прочесть.

Смерть Рузвельта глубоко потрясла не только тех государственных и общественных деятелей, которые знали его и встречались с ним, но прежде всего миллионы простых американцев, с нетерпением ожидавших лучшего будущего после окончания войны и надеявшихся, что президент поможет им приблизить его. Люди стекались задолго и издалека, чтобы встретить траурный поезд и отдать дань уважения президенту. До 500 тыс. человек вышли на улицы Вашингтона, когда катафалк с гробом, влекомый семеркой белых лошадей, направлялся к собору. В сражавшейся уже на германской территории американской армии приказом Эйзенхауэра был объявлен 30-дневный траур. Прервал работу конгресс, были закрыты все американские правительственные учреждения, торговые предприятия, зрелищные места. В Вашингтон поступали соболезнования из большинства столиц мира. В послании И. Сталина Трумэну, 12 апреля превратившегося из вице-президента в президента, говорилось: «Американский народ и Объединенные нации потеряли, в лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности после войны».

В подземном бункере в Берлине, где ожидали конца обанкротившиеся Гитлер и Геббельс, весть о смерти Рузвельта пробудила взрыв оптимизма и надежду на то, что теперь-то уж наверняка США и Англия поссорятся с СССР, и следовательно, отсрочится

и их гибель. «Фюрер, поздравляю вас! — кричал по телефону Геббельс Гитлеру, узнав о смерти Рузвельта. — Само небо решило сделать вторую половину апреля поворотным пунктом нашей судьбы! Сегодня, 13 апреля, пятница! Это поворотный пункт!»

Колченогий шеф гитлеровской пропаганды, конечно, ошибся в отношении судьбы своей и Гитлера: их уже ничто не могло спасти, да Трумэн и не собирался этого делать. Но поворотный пункт в развитии внешней политики США действительно приближался, ибо по мере окончания войны сокращалась и заинтересованность правящих кругов США в сотрудничестве и взаимодействии с СССР. Рамки антигитлеровской коалиции все более стесняли их, и они напряженно работали над подготовкой той «холодной войны», которая должна была обеспечить Соединенным Штатам господство в послевоенном мире. Эта подспудная деятельность еще при жизни Рузвельта, впрочем, не раз проявлявшаяся достаточно ярко и определенно, не укрылась от внимания Черчилля. Быть может, он усмотрел в ней опасность и для британских империалистических интересов, потому что прозорливо сказал: «Рузвельт умер в тот момент, когда его авторитет стал особенно необходим, чтобы верно направлять политику США». Справедливость этих слов, равно как и невосполнимость понесенной утраты, были подтверждены ходом событий уже в 1945 году.

